**ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ:**

***«Образ Ростова и ростовчан***

***в произведениях русских писателей»***

**Автор работы: Казбанова Кира,**

**13 лет**

**Руководитель: Казбанова Л.В.**

**Ростов-на-Дону**

**2020г.**

**ОГЛАВЛЕНИЕ.**

1. Введение.

2. А.И. Свирский «Ростовские трущобы»

3. Г.П. Данилевский. Публицистика. Книга «Воля»

4. В.Н. Сёмин. Повесть "Ласточка-звёздочка", роман «Нагрудный знак “OST”»

5. А.И. Солженицын. Донские страницы.

6. Заключение.

**Вступление.**

Что написано пером – не вырубишь топором», – гласит народная мудрость. Ну, а в своем поэтическом переложении У. Шекспир, например, то же самое выразил так:

«Замшелый мрамор царственных могил

Исчезнет раньше этих веских слов,

В которых я твой образ сохранил.

К ним не пристанет пыль и грязь веков.

Пусть опрокинет статуи война,

Мятеж развеет каменщиков труд,

Но врезанные в память письмена

Бегущие столетья не сотрут».

Прошедшие века в полной мере дали нам удостовериться в этой истине. Отброшенные от нас временем люди, события, природные явления, города и строения и сейчас живут с нами, воплощенные и возрожденные для нас в слове своих великих или даже просто одаренных литературным талантом современников.

Не всем людям, и городам, правда, повезло одинаково. Скажем, благодаря Ф. Рабле мы прекрасно знакомы с жизнью средневековой Франции. Сервантес, к примеру, или Лопе де Вега донесли до нас согретую горячим солнцем и страстями Испанию эпохи Возрождения. Российский XIX век, к счастью, и сегодня с нами в слове А. Пушкина, Н. Гоголя, И. Тургенева, Ф. Достоевского и Л. Толстого.

Посчастливилось в этом деле и отдельным городам. Всем нам известны, например, запечатленные в слове пушкинская Москва и Петербург Гоголя и Достоевского, чеховский Таганрог, Одесса Бабеля, Ильфа и Петрова и Катаева.

Увы, Ростову в этом смысле повезло гораздо меньше.

Может быть, я ошибаюсь, но не нашлось еще пока автора, в произведениях которого наш город предстал бы во всей красоте и мощи своего яркого темперамента и характера.

Актуальность данной темы помогла выдвинуть гипотезу: изученные произведения является богатым материалом для проведения работы по региональному компоненту при изучении истории Донского края.

**Цель исследовательской работы**: представить художественный материал на примере произведений русской литературы, в которых создан образы Ростова-на Дону, и ростовчан, в тех или иных текстах разнообразных форм и жанров у различных авторов и

**Задачи, решаемые в процессе исследования:**

• изучить А.И. Свирского, Г.П. Данилевского, В.Н. Сёмина, А.И. Солженицына.

• отобрать материал для исследования;

• развивать и совершенствовать поисково - творческие навыки и умения.

**Методы исследования:**

• Теоретический: справочно-информационный; анализ и систематизация.

• Практический: осмысленное прочтение произведений; наблюдение; творческий поиск.

**Предмет исследования**: художественные произведения русских писателей, публицистика.

**Структура работы:** исследовательская работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы.

**Результаты работы** могут быть использованы учащимися и учителями на уроках литературы для проведения работы по региональному компоненту при изучении истории Донского края.

**ГЛАВА 1.**

**А.И. Свирский “Ростовские трущобы”**

Социальная журналистика в Донском крае существует уже более ста лет. Несмотря на тяжесть цензуры того времени, такие журналисты, как А. Карасев, Е. Жигмановский, Е. Сизякин, А. Тараховский, И. Струков, обличали в печати конкретные проявления социального зла, в то же время, не видя реального пути его уничтожения.

В 1892 году в “Ростовских-на-Дону известиях” была опубликована серия очерков А.И. Свирского “Ростовские трущобы”. В 1893 году очерки были напечатаны отдельной книгой. Хотя временной промежуток между газетным и книжным изданиями очерков был невелик, Свирский успел частично их переработать, внести некоторые дополнения, сокращения, изменения в рубрикации и пр.

Данное произведение Свирского выделяется среди других произведений, описывающих “униженных и оскорбленных”. Его отличают хороший слог, яркость его главных героев, точность и достоверность описываемых событий – ведь автор не понаслышке знал то, о чем писал.

В последние годы появилось много исследований, посвященных журналистике Юга России конца прошлого века. Однако творчество Свирского и ряд его известных произведений, в том числе и “Ростовские трущобы” незаслуженно обойдены стороной. Это и определяет актуальность данной работы.

Цель моей работы над творчеством А.С. Свирского – раскрыть жанровое своеобразие произведения “Ростовские трущобы”.

На основании цели поставлены следующие задачи:

o описать такой важный жизненный период Свирского, как его работа на поприще донской журналистики;

o проанализировать основные сюжетные линии “Ростовских трущоб”;

o сделать выводы о наличии в данном произведении главных героев;

o рассмотреть композицию очерков;

o изучить выводы автора относительно путей решения проблем, поднимаемым им в своих публикациях.

***СВИРСКИЙ И ДОНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА.***

Процессы, характеризующие русскую действительность1880-х – начала 1890-х г., происходили также на Дону и Северном Кавказе и находили свое отражение в политической и хозяйственной жизни региона. Ускоренными темпами развивается крупное капиталистическое производство, прежде всего угле- и нефтедобывающая промышленность, железнодорожное строительство, четвертую часть угля в стране поставляли Дон и Северный Кавказ.

Русские промышленники с участием иностранного капитала образуют акционерные общества по добыче угля, торговые акционерные общества и товарищества. Развиваются земледелие, виноградарство, табаководство. Железная дорога, связавшая Порт-Петровск с Владикавказом и Ростовом-на-Дону, дает выход местным товарам на Всероссийский рынок. Крупными промышленными центрами становятся Ростов и Таганрог (оба города вошли в состав Области войска Донского в 1886 г.), Новочеркасск, Грозный, Владикавказ.

Активное развитие капитализма на Дону, Кубани, Ставрополье, Тереке, Причерноземье, наличие разветвленной сети железных дорог привело в конце XIX в. к усилению экономической интеграции в этом крупном регионе. Возникла необходимость информационного обеспечения этих связей с помощью прессы. Первой практически воплотила эту идею газета “Приазовский край”.

История ее началась с того, что титулярный советник, секретарь Нахичеванской-на-Дону городской управы Серафим Христофорович Арутюнов перекупил у Ф. Траклина право на издание малодоходного “Донского поля”. 1 сентября 1891 г. издание вышло под новым названием: “Приазовский край” – “газета политическая, экономическая и литературная”.

“Приазовский край” стал печататься впервые форматом в большой лист ежедневно, к 1896 г. имел уже 3000 подписчиков и обслуживал читателей всего региона.

“Приазовский край” был воспринят как региональная газета, заменившая собой другие, менее масштабные издания. “Это было нечто совершенно новое, по тем временам даже прямо исключительное, – вспоминал в юбилейном номере А.Тарский о выходе первого номера “Приазовского края”. – В то время это была не только первая ежедневная газета на Дону, но и первая и единственная ежедневная газета по своему типу. Она представляла собой несколько местных газет края с полными отделами для каждого города и многих станиц”.

Цели и задачи нового издания, как говорилось в руководящей статье, заключались в том, чтобы “возбуждать жизненные вопросы, обсуждать их в печати и содействовать правильному их разрешению”.

Необходимым условием успешного ведения местной газеты редакция считала “сочувствие и содействие интеллигентных сил общества, просвещенное содействие образованных классов”. Пожалуй, только в этом заключении редакция отступила от традиционных заявлений редакций донских газет той поры о содействии делу общественного прогресса и перешла к конкретным суждениям о собственной читательской аудитории.

Редакция “Приазовского края” состояла из четырех человек – издателя и владельца газеты С.Х. Арутюнова, уроженца Вильны, первого зав. редакцией и фельетониста С.Я. Краева, секретаря редакции В.А. Хмельницкого и корректора Н.В. Никитина, который также выступал со своими публикациями.

С первых шагов “Приазовский край” стал серьезным конкурентом “Донской пчеле” и “Ростовским-на-Дону известиям”. Первая закрылась вследствие финансовых затруднений в 1893 г., а издатель второй – М.И.Балабанов – решил в 1893 г. объединить ее с “Приазовским краем”. В результате этого слияния в состав редакции “Приазовского края” вошли новые сотрудники из “Ростовских-на-Дону известий”, в числе которых был и А.И. Свирский.

Свирский А.И. родился в бедной еврейской семье. Место его рождения неизвестно. К восьми годам мальчик уже потерял родителей.

Однако рос он любознательным – изучать страну, в которой родился, начал с 12 лет не сидя за партой, а с “практических занятий” – начал бродяжничать. География его скитаний была столь же велика, сколь велика страна. За почти пятнадцать лет молодой человек побывал в Крыму и Бессарабии, на Кавказе и Туркестане, в Сибири и Польше, и даже в Персии. Работал, где придется: был грузчиком на Волге и в портах Черного моря, работал на шахтах в Донбассе, рабочим на винокурнях, на плантациях табака и хлопковых полях, на кирпичных заводах. На жизненных дорогах будущий писатель встречался с разными людьми: бродягами и промысловыми нищими, честными рабочими и мелкими авантюристами.

В Ростове-на-Дону он начинает писать. В 1892 году в газете “Донская пчела” публикуются стихи Свирского “Ростовским поэтам”. Несколько позже в газетах “Ростовские-на-Дону известия”, “Донская пчела” и “Приазовский край” стали публиковаться его репортажи и заметки, фельетоны и очерки. Особенно успешным и плодотворным было сотрудничество Свирского с “Приазовским краем”.

Отличительной чертой газеты “Приазовский край” была публикация остросоциальных материалов. Ежедневные сатирические рубрики “Злобы дня” и “Летучие листки” – были одним из самых ярких явлений в газете “Приазовский край”. Они становились своеобразным центром номера, определяли его тональность. Газета следующим образом характеризовала их содержание: “… начиная от самых возвышенных предметов и кончая ассенизационным обозом или вопросом о свалке нечистот”. По мнению газеты, фельетоны на местные злобы становились с каждым годом острее, “возбуждая жизненные вопросы, обсуждая их в печати и содействуя правильному их разрешению”.

“Приазовский край” поставил в центре своего внимания экономические вопросы, мотивируя это как их актуальностью для жизни общества, так и недостаточной их разработанностью в местной прессе. На страницах “Приазовского края” часто публиковались передовые и проблемные статьи по вопросам местной экономики.

Нижнюю треть второй полосы занимал отдел “Фельетон”, который в известной степени формировал лицо издания. В отделе фельетона печатались разнообразные по тематике и жанрам материалы. Кроме развлекательного и познавательного фельетон имел и воспитательное значение. Беллетристический фельетон, особенно популярный в последнем десятилетии XIX в., писался по схеме “богатым – о бедных”. В этом жанре и работал А.И. Свирский.

Заметки Свирского можно охарактеризовать как “физиологические очерки” или, говоря современным языком, “журналистские расследования”. Автор сам являлся действующим лицом очерков. Он затрагивал в своих выступлениях такие темы, как “каменноугольные шахты, голь ростовских окраин, бойни – фабрика мяса, трущобы, быт рыбаков, ломовых извозчиков, комиссионеров, хлебных откупщиков и жизнь рабочих”. Из подобных очерков и сложилась книжка А.И. Свирского “Ростовские трущобы”.

В критических статьях отмечалась похожесть героев Свирского с героями ранних произведений М.Горького. Существенное отличие в том, что он не романтизирует своих героев – обитателей “дна”. В среде бродяг, преступников, босяков существуют свои специфические законы, они не писаны, но твердо исполняемы. Нравы и обычаи “естественного” отбора, арестантский фольклор – тщательно исследуется и демонстрируется.

Благодаря своим публикациям, одним из наиболее уязвимых мест газеты были ее взаимодействия с цензурой. Новые “Временные правила о печати” от 27 августа 1882 г. ликвидировали те уступки, на которые вынуждено было пойти правительство под давлением общественного движения 1860-х годов. Отныне четыре министра решали вопрос о закрытии неугодного издания, не заботясь о ссылках на параграф и букву закона. А однажды приостановленное издание мог вновь подвергнуть такой же санкции сам цензор единолично.

В дополнение к этим нововведениям, закреплявшим бесправное положение периодической печати, временные правила вменяли в обязанность редакциям не только знать авторов публикуемых материалов, но и давать в случае необходимости сведения о них карающим органам.

Первое столкновение акционеров с цензурой произошло уже через несколько месяцев после покупки газеты. 24 сентября 1897 г. за напечатание “нецензурированных” статей была закрыта типография. И хотя к наказному атаману направилась “депутация из всех наличных членов правления”, типографию открыли лишь 10 октября. Заседание правления утвердило следующую резолюцию: “Правление, следя за направлением газеты “Приазовский край” и отлично понимая и признавая, что орган печати должен служить для освещения фактов и обличительный материал создает успех газете, тем не менее, находит, что все это должно быть в разумных пределах и известных рамках, касаясь областной и общественной жизни, отнюдь не затрагивая личности, не делая газету орудием личных счетов, личных симпатий и антипатий… Между тем, в некоторых статьях видно это нежелательное явление…”. Таким образом, акционерное общество вступило на путь поиска разумного компромисса с цензурным ведомством.

31 октября 1898 г. на запрос Атаманской канцелярии о том, желает ли общество иметь в области особого цензора для газеты “Приазовский край” и типолитографии, правление ответило согласием и определило размер жалования в 800 руб. На следующем заседании 14 ноября редактор-издатель С.Х. Арутюнов выдвинул предложение о выпуске газеты без предварительной цензуры. Правление командировало Арутюнова в Петербург, но там ходатайство отклонили. В июле 1901 г. С.Х. Арутюнов обратился с прошением об отмене предварительной цензуры в Главное управление по делам печати, но с тем же результатом.

Следующее столкновение с цензурой в марте 1899 г. привело к запрещению розничной продажи газеты “Приазовский край”. В июне правление командировало С.Х. Арутюнова хлопотать в Петербург об отмене запрещения розничной продажи. Цензурным взысканиям подвергалась газета в 1900 и 1901 гг.

“Ростовские трущобы” Свирского также обратили на себя внимание цензуры. Главное управление по делам печати признало, что “трущобы эти напоминают собою сочинения Евгении Сю”. При этом редакции газеты удалось не только опубликовать “Ростовские трущобы” на страницах периодического издания, но и напечатать их в 1893 году отдельной книгой в собственной типографии.

В 1896 году А.И. Свирский прекращает сотрудничество с “Приазовским краем” и переезжает в Петербург. Начинается новый этап его жизни и творчества.

***«РОСТОВСКИЕ ТРУЩОБЫ»***

Жанр в котором написаны “Ростовские трущобы” можно охарактеризовать как эссе. А.И. Свирский знакомит читателя с историей написания эссе, раскрывает творческую лабораторию их создания. Нарядившись соответствующим образом и доборов в себе чувство гадливости, автор отправился скитаться по ростовским трущобам. Он искренне считал, что общество не подозревает о существовании тайных притонов, и ставил перед собой цель, изучив все подробности трущобного прозябания отверженных созданий, рассказать об этом широкому кругу читателей.

В своем эссе Свирский, если можно так выразиться, “отдает должное” ростовскому дну. “Нет того города, который не имел бы своих трущоб; и чем город многолюднее, тем трущоб в нем больше. Но наш Ростов в этом отношении занимает особенно видное место; будучи, сам по себе, городом небольшим, он своими трущобами нисколько не уступает самым густонаселенным городам России. Ростовские “Окаянка”, “Полтавцевка”, “Прохоровка”, “Гаврюшка”, “Дон” и другие рассадники пьянства, воровства и огульного разврата смело могут соперничать с петербургской “Вяземской”, московской “Хитровкой”, одесской “Молдаванкой”, харьковскими “Йорданом” и “Востоком” и многими другими знаменитыми трущобами”.

Своеобразна композиция очерков. Перед взором читателя открывается панорама трущобного мира, ужасающего своей мерзостью и безысходностью. Сначала мелькают безымянные, стертые лица, являющие собой фон этого ада.

“Эти притоны, словно сказочные чудовища, своими цепкими лапами выхватывают из толпы несчастных, обездоленных людей, без различия класса, возраста и пола, со страшною силою втягивают их в свои грязные внутренности, убивают в своих жертвах всякое человеческое достоинство, заставляют забыть их обо всем, что только есть хорошего, честного, святого в жизни нашей и, наконец, превратив их в нравственных и физических уродов, навсегда преграждают им путь к тому обществу, к которому и они, горемычные, когда-то принадлежали...

Еще грустнее, еще больнее становится от сознания, что в этих притонах падения, наряду с темным невежественным плебсом, очень часто попадаются и люди с высшим образованием, люди, некогда занимавшие видное положение в обществе, а теперь служащие, даже в трущобах, предметом насмешек и потехи для своих темных товарищей по несчастию...

Не угодно ли вам посмотреть на одного из этих трущобных мизераблей? Вот он перед вами: весь согнувшись от холода, спешит он в один из притонов, где надеется отогреть свои окоченевшие члены, где скроется от света и людей, где, быть может, хоть на время забудет о своем страшном, позорном падении... Взгляните несчастному в лицо, оно все посинело и преждевременно сморщилось. Вот показались на нем слезы, которые вызваны не то холодом беспощадным, не то горем безысходным; сначала светлые, как у всех людей, они потом, катясь по немытому лицу, вдоль впалых щек, болотистою струею приближаются к вздрагивающему подбородку и черными, крупными каплями падают на землю... Не правда ли, противное это, омерзительное зрелище? А между тем этот самый оборванец, который вызывает в нас такое чувство гадливости, когда-то тоже жил полной жизнью, всеми фибрами души стремился ко всему возвышенному, чистому, идеальному; полной грудью вдыхал в себя весну молодости и любви и, упоенный несбыточной надеждой, с жаром бросался в бурный водоворот житейского течения, думая выйти оттуда победителем и завоевать себе положение в свете; но, увы, напрасные надежды: не будучи баловнем судьбы, он выходил из битвы побежденным, униженным, поруганным и, под непосильною тяжестью невзгод, пал, не силясь больше встать...

Да, жалко, до физической боли жалко этого человека, тем более, когда вспомнишь, что он не один, что их не десяток и не сотня, а целые тысячи...”

Вряд ли есть еще другой город, в котором было бы столько падших и преждевременно погибающих детей, как у нас в Ростове. Я уже не говорю о тех малолетних оборвышах, которые на каждом почти перекрестке останавливают прохожих, назойливо выпрашивая у них милостыню: о них и писать нечего. Их каждый из нас видит, видит ежедневно, при том они не принадлежат к нашему городу. Это — дети так называемых «переселенцев», промышляющих тем, что разъезжают по городам и, выдавая себя за крестьян неурожайных губерний, выпрашивают деньги на проезд, но на самом деле являющих в своем лице обыкновенных тунеядцев, среди которых можно встретить «крестьян», никогда и в глаза не видавших деревни...

...Если же я не касаюсь их горемычной жизни, так это только потому, что есть в Ростове еще другие дети, так же обездоленные и еще более несчастные, чем дети-нищие. Я говорю о «детях трущоб»... Эти маленькие «халамидники» (базарные жулики) без исключения, получая с малых лет воспитание в грязных вертепах, а по временам и тюрьме, по достижении более зрелого возраста, превращаются уже в самых отчаянных воров и грабителей и, таким образом, впоследствии являются не простыми тунеядцами, а прямо таки опасными людьми. Откуда берутся дети в трущобах трудно определить…

Большей частью, впрочем, в трущобы попадают. Кто хорошо знает Ростов, тому, поверьте, наверное, известно, как много в среднем и низшем классе его населения есть людей, мужчин и женщин, живущих гражданским браком. Положительно, можно сказать, что Ростов поражает своей развращенностью. Из 100 портных, сапожников, приказчиков, слесарей, фабричных чуть не 50 имеют кроме жен еще любовниц. То же самое можно заметить о модистках, белошвейках, папиросницах, горничных, кухарках и прочих, живущих собственным трудом, женщинах. Не знает сластолюбия «восточных человеков», которых так много в Ростове, и которые считают почти геройством, всеми правдами и неправдами, обольстить бедную труженицу, обещая ей, конечно, золотые горы в будущем. Теперь не угодно ли вам подумать, чего можно ждать хорошего от «этих плодов любви несчастной»?

**ГЛАВА 2.**

**Г.П. Данилевский. Публицистика.**

Писатель Г.П. Данилевский решил выяснить, как в обиход ростовчан попало романтическое словосочетание «КРАСНЫЙ ГОРОД-САД» .

Места, о которых пойдет речь (сектор между нынешним проспектом Стачки и Темерником), в не таком уж далеком прошлом не относились к территории Ростова, более того — к России. Еще в начале XVIII века это была Турция. Граница проходила как раз по реке Темерник. Позже, когда Ростов появился на карте, эти места также не входили в городскую черту и относились к территории Войска Донского. Ростов, как известно, не входил в эту область, а был частью Екатеринославской губернии.

На генеральном плане 1845 года были определены места для 509 дворовых участков площадью от 120 до 340 квадратных саженей. Несмотря на то, что плата за 1 квадратную сажень была десять копеек ассигнациями — небольшая сумма для тех времен — люди предпочитали селиться, где вздумается. И когда территория будущего центра Ростова была заполнена, зоркий взгляд поселенцев устремился в том числе и на западную сторону Ростова, за реку Темерник. Устремился, скажем так, самоуправно.

Вот как описывает это место писатель Г.П. Данилевский в книге «Воля»: «По взгорью здесь было раскинуто село... Бессовестная слободка. Домики и хаты слободки, точно кучи камешков, кинутых из горсти как попало, торчали тут без всякого порядка, лепясь по обрывам, сползая к маковкам. Это слободка селилась сама собою под городом, когда еще мало внимания обращали на то, кто сюда приходил и селился. Дух смелости и доныне тут царил на всей слободе. Все проделки против полицейских уставов в городе начинались отсюда».

Тогдашний ростовский голова Байков решил покончить с незаконным захватом территорий, а заодно пополнить городскую казну. В 1865 году он обратился в Екатеринославское губернское правление с просьбой узаконить Бессовестную слободку. 5 июля 1868 года был утвержден план этой части города. Ее стали называть Затемерницким поселением. Узакониванием (и связанными с этим делом поборами) должны были заниматься специальные комиссары.

Постепенно Затемерницкое обустраивалось. Здесь появился проспект — имени графа Коцебу, почетного гражданина Ростова (сейчас это улица имени Ставского). Появилась своя пожарная часть. 6 июня 1872 года на том месте, где позже был возведен Лендворец, построили Иоанно-Предтеченский храм. Среди жителей Затемерницкого поселения он был известен как «старая церковь».

Деньги на постройку церкви выделил купец Моисей Яковлевич Горбенко.

Позже около церкви возник Затемерницкий базар. Рабочим главных мастерских Владикавказской железной дороги хотелось, чтобы базар был больше, они даже обращались в думу за выделением лишних площадей за счет территории церкви, но власть все время отказывала им. Ночью 18 апреля 1813 года церковь сгорела, а на ее месте позже устроили временную деревянную и молитвенный дом с алтарем. Вот такой любопытный штрих.

К началу 20 века Бессовестная слободка стала рабочим районом. Кроме уже упомянутых мастерских Владикавказской железной дороги (вошли в строй в 1874 году, ныне это Ростовский электровозоремонтный завод), ее жители работали в депо, отправлялись отсюда в город — на табачные фабрики Асмолова и Кушнарева, на заводы Пастухова, Мартина, Токарева, в слесарные мастерские.

В летописи мастерских Владикавказской железной дороги, вышедшей в 1924 году, писали: «Где кончается территория мастерских не разобрать: ограды вокруг не было. Кругом грязь, местные извозчики оставляли драги в городе, а сами верхом на лошадях пробирались через дворы мастерских на проспект Коцебу. В мастерских не было ничего для удобства рабочих — вентиляции, отопления. Работали по 12 часов — с 6 утра до 6 вечера. Зарплата квалифицированного рабочего составляла 1 рубль в месяц, чернорабочие получали 50 копеек, ученики трудились бесплатно».

В самом поселке долгое время не было ни воды, ни одной мощеной улицы. После дождей улицы превращались в болото. Ростовские извозчики отказывались ехать сюда в дождливую погоду и смотрели на людей, которые просили перевезти их за Темерник, как на сумасшедших. С другой стороны, дождь выручал летом, когда особенно ощущалась нехватка воды.

Другая проблема заключалась в нехватке докторов. В ростовских газетах часто появлялись стихи с черным юмором на эту тему, а местным жителям ничего не оставалось делать, как обращаться за помощью к знахаркам. Лишь в конце 90-х годов XIX века городская дума выделила на тридцатитысячный поселок одного доктора. Только в 1906 году началось замощение проспекта Коцебу.

Неудивительно, что в начале ХХ века этот рабочий городок превратился в центр революционного восстания. Ноябрьская стачка 1902 года продолжалась 24 дня. К рабочим мастерских Владикавказской железной дороги присоединились рабочие плугостроительного завода «Аксай», цементного «Союз», рабочие асмоловской фабрики и многих других.

Одним из организаторов стачки был 25-летний Иван Ставский, чье имя в советское время было присвоено проспекту Коцебу. Всего в отдельные дни собиралось до 30 тысяч человек — и это при том, что все население Ростова в те годы не превышало 120 тысяч. Звучали разные призывы, начиная от требования сократить рабочий день до девяти часов, заканчивая необходимостью изменить существующий строй. 11 ноября произошло вооруженное столкновение казаков и рабочих. 8 рабочих были убиты, 23 ранены, десятки арестованы.

Газета «Искра» так описывала эти события: «Здесь творится нечто небывалое еще в России. Как только вспыхнула стачка в мастерских Владикавказской ж.д., на всех фабриках и заводах началось невиданное брожение. Во многих местах рабочие бросали работу и опять ее начинали, уходили с работы смотреть, что делается «на стачке», и потом приходили обратно. Забастовала и предъявила требования по-настоящему только фабрика Токарева (свыше 300 человек). Требования эти удовлетворены, и 11 ноября на фабрике началась работа».

Понятно, что и в 1905 году Затемерницкое поселение не осталось в стороне от революционного движения. Здесь появились баррикады (спустя много лет этот факт был зафиксирован в названии улицы Баррикадной). Власти применили против восставших артиллерию. Дружинники-революционеры, в свою очередь, ночью по льду обошли город и заняли завод «Аксай». 21 декабря восстание было подавлено, 100 человек убиты, в их числе Анатолий Собино, чье имя теперь носит расположенный в этих краях парк культуры и отдыха.

В 1924 году Затемерницкое поселение было переименовано в Ленинский городок. Городок этот дошел в своем практически первозданном виде до наших дней. Между тем, Ростов двигался в сторону Таганрога, и рядом с Ленгородком было решено построить Красный город-сад.

Сама идея города-сада впервые была описана английским писателем-утопистом Эбенизером Говардом в 1898 году. Город — по Говарду — представлял собой структуру из круглых зон. В самом центре его находится парк или площадь, его окружает жилая зона с малоэтажной застройкой и зелеными участками. Красный город-сад в Железнодорожном районе Ростова строился рабочими все того же паровозоремонтного завода, в 1924–1930 годах. Авторами проекта были С. Кршижановский, В. Куликов, И. Турусов.

«В зелени фруктовых садов трудно разыскать глазами жилые дома», — пишет автор книги «Ростов шагает в будущее» Ян Ребайн.

Полностью застройка района была закончена к 50-м годам ХХ века. Здесь разместились одноэтажные кирпичные многоквартирные дома и индивидуальные постройки с садовыми участками на одного, двух или несколько хозяев.

Ростовский Красный город-сад, что примечательно, вместил в себя два таких города-сада. Центром первого стала Рабочая площадь, и от нее, как лучи, в разные стороны расходились улицы Шмидта, Балакирева, Сакко и Ванцетти, а опоясывали их 1-я Кольцевая, 2-я Кольцевая, 3-я Кольцевая... Центром второго города-сада стала площадь Круглая. К ней вели улицы Токарная, Спартаковская, Ленинградская, переулок Дунаевского... Спустя годы советская власть предала забвению теорию города-сада. Сегодня многие дома, построенные в черте Красного города-сада, снесены.

Параллельно со строительством города-сада, в 1924 году, началось и строительство Дворца культуры железнодорожников имени Ленина — с инициативой выступил профсоюз Владикавказской железной дороги.

Место под строительство выбрали не случайно. На этом месте в 1902 году бились казаки и рабочие. Здесь 14 декабря 1905 года погиб Анатолий Собино.

Дворец в духе популярного в те годы конструктивизма строился по проекту ростовского архитектора Леонида Эберга. Работы продвигались быстро: 3 мая 1924 года был заложен фундамент, а 6 ноября 1927 года, в канун десятилетия Октябрьской революции, состоялось открытие дворца. Это было громадное монолитное здание с девятиэтажной башней. В годы войны оно было разрушено, потом Лендворец восстановили. Современный облик здания заметно отличается от первоначального. Ничего «конструктивистского» там не осталось.

После войны в жизни района произошло несколько знаменательных событий. В ноябре 1948 года был сдан в эксплуатацию Затемерницкий путепровод — 300-метровый мост высотой 15 метров. В 1957 году через Красный город-сад по улице Осипенко пустили первый трамвай.

На 50-е годы пришелся расцвет парка Собино. Здесь всегда играла музыка, а летняя киноплощадка, тир, аттракционы были полны людей. Здесь же находился планетарий, в котором можно было посмотреть научно-популярные фильмы. Еще в парке были самое высокое в городе колесо обозрения и детская железная дорога. Сейчас ничего этого нет. Именно этот парк предлагает городская администрация для проведения митингов. Ходят слухи, что парк все-таки реконструируют или сделают из него красивую рощу.

В 1956 году в Красном городе-саде возводится еще одно важное для Ростова и области сооружение — телебашня высотой 195 метров. 240 метров над уровнем моря. На строительство башни на улице Баррикадной потратили два года и 23 миллиона.

В начале 60-х через Камышевахскую балку — излюбленное место митингов ростовчан — прошел проспект, в 1967 году получивший название Стачки. Город пошел дальше к Азовскому морю. «На площади, где во время войны и долго после войны собиралась «толкучка», строили широкоэкранный кинотеатр с модерным железобетонным козырьком над входом. Асфальт, который раньше кончался у «толкучки», теперь протянули далеко за город, к микрорайону, который в городской и областной газете называли «наши Черемушки». Над асфальтом стоял плотный городской шум: шли самосвалы, автобусы, грузовики, у которых вместо кузова — арматурная кассета для панелей сборных домов».

Сейчас название Красный город-сад (так же, как и Затемерницкое поселение) официально не существует. Оно осталось в памяти преимущественно жителей этого района. А ведь раньше название района Красный город-сад указывалось на конвертах.

**ГЛАВА 3.**

**Виталий Сёмин. Автобиографическая повесть "Ласточка-звёздочка», роман «Нагрудный знак “OST”»**

Виталий Сёмин родился в Ростове-на-Дону в 1927 году. В начале войны, когда Ростов подвергся жесточайшим бомбардировкам, он был семиклассником. В 42-м, в числе 53 000 ростовчан от 1900 до 1927 года рождения, его угнали на работу в Германию. После войны ему повезло, и он не попал в проверочно-фильтрационный лагерь, но окончить Ростовский пединститут не смог — из-за своей, как считалось тогда, запятнанной биографии. Однако он стал журналистом — литературным сотрудником газеты «Вечерний Ростов», редактором передач Ростовского телевидения.

"Ласточка-звёздочка" - это автобиографическая повесть о ВОВ, написана в 1963 году. Фактически именно себя вывел в роли главного героя Сергея Рязанова автор повести Виталий Сёмин, который вырос в Ростове-на-Дону, в 14-летнем возрасте встретил приход фашистов и оккупацию, и совсем скоро был угнан в Германию на рабские работы.

Повесть менее известна, чем её продолжение — роман «Нагрудный знак “OST”», в котором подросток Сергей Рязанов, по домашнему и уличному (только с разными интонациями) прозвищу Ласточка-Звёздочка, оказывается остарбайтером, как и сам Виталий Сёмин.

Время действия повести, кроме отступлений о довоенной жизни, писатель относит к лету и осени 1941 года, стягивая происходившее в первую и вторую оккупацию Ростова-на-Дону. Город — и об этом рассказывает С.Дудкин — фашисты захватывали дважды: на одну неделю в ноябре 41-го и уже надолго в конце июля 42-го; Советская армия полностью освободила его 14 февраля 1943 года. Город был страшно разрушен, фашисты уничтожили около 40 000 жителей и военнопленных.

Виталий Сёмин, вероятно, ради не очень-то ясного из сегодняшнего дня обобщения, не называет город Ростовом и реку Доном. В повести — просто «город» и «река». Но, конечно, ростовчане по-своему читают «Ласточку-Звёздочку». Не то чтобы больше других читателей сострадают здешним детям и взрослым, но узнают улицы, переулки, дома, учреждения. Одни из них сохранили названия, другие — переименованы по воле автора. Однако топографически всё конкретно, узнаваемо — для тех, кому это важно.

Булыжные мостовые, подъёмы и спуски, трамваи, громадные акации, старые дома и дома типа «новый быт». Центральная улица Энгельса (дореволюционная и нынешняя Большая Садовая) — в повести улица Маркса. Автомобильный мост и железнодорожный вокзал — те, что были до войны.

Замечательная книга о четырнадцатилетнем Серёжке Рязанове – подвижном, длинноногом, добром мальчишке с ясным взором, чистым сердцем и обострённым чувством справедливости, за которую он борется по мере своих сил, ласточке-звёздочке, как ласково называет его мама. Это прозвище приносит подростку много неприятностей, но только до тех пор, пока не появляется в его жизни лучший друг Эдик Камерштейн - Тейка, близкая душа. Он тоже любит рисовать, читает те же книги, и вот уже обидное до сих пор «ласточка-звёздочка», но произнесённое Тейкой, нравится Серёжке, он невероятно счастлив. Но в это мальчишеское счастье от обретения нового друга и беззаботности летних каникул безжалостно вторгается война и одним взмахом стирает все яркие краски из Серёжкиного детства. Вот он уже другими глазами смотрит на разом постаревшего отца, а отец, забывая о своих привычных наставлениях и замечаниях, трогательно и осторожно всё норовит приласкать и погладить сына, предвидя близкую разлуку…

Это книга о дружбе, верности, отваге, первых потерях и тяжёлых испытаниях, выпавших на долю вчерашних ростовских мальчишек. Им предстоит пережить бомбёжки, начало оккупации родного города, гибель близких людей, но Тейка и Серёжка будут верны своей дружбе до самого конца.

« Когда Сергей с отцом в первый военный месяц всё же решили посетить зоопарк — им, правда, если пешком, предстояло пройти «несколько душных, пыльных, начисто лишённых тени километров».

Когда мальчишки смотрят в темноте на горящие здания и говорят друг другу: «Театр». — «И театр?!», — тут понятен знак вопросительный и восклицательный. Ростовский театр-«трактор», восстановленный в 1963-м, столь примечателен, что должен изумлять и тех, кому неизвестно, что такое советский конструктивизм.

Когда Камерштейны и тысячи, тысячи ростовских евреев идут на сборный пункт, а «уже к вечеру город знал — их убили», то это в Змиёвской балке.

«Это произошло во второе с начала войны воскресенье. Был бестеневой, жаркий день. На главной улице города, которой обилие военной формы пока придавало лишь подтянуто-бравый, призывно-походный вид, на центральной площади Ленина было тесно от празднично одетых людей. Должно быть, все эти люди, как и ребята из Сергеева двора, еще не очень верили в войну; должно быть, у них, как у ребят из Сергеева двора, было еще довоенное представление о войне. Во всяком случае, они не насторожились, когда низко над жестяно завибрировавшими крышами раздался рев чужих авиационных моторов, не легли на асфальт, не попытались укрыться хотя бы в подворотнях, когда к реву авиационных моторов прибавился бомбовый вой.

Бомбы взорвались как раз в центре гуляющей толпы, и город, который лежал за много сотен километров и от границы и от фронта, понес первые потери. Эти потери были так неожиданно, так ошеломляюще велики, что городская администрация не столько испугалась, сколько словно смутилась их. Убитые на улицах города — это казалось чем-то вроде разглашения государственной тайны. Место, где упали бомбы, сразу же оцепила милиция, раненых и убитых вывезли в закрытых машинах, воронки тотчас заделали, асфальт присыпали песком и только тогда опять пустили на площадь прохожих». Сергей с ребятами был в числе тех, кто первым пришел посмотреть на место, где рвались бомбы и лежали убитые. На площади уже все было тщательно прибрано, подметено, присыпано никем не затоптанным песком, и мальчишки еще не смогли услышать голос войны. Они и не были готовы к этому. Беда еще по-настоящему не заговорила с ними своим языком. Потрясло лишь ощущение хрупкости жизни, ее незащищенности перед темной и жестокой силой. Будто Сергею рассказали о нелепой и кровавой автомобильной катастрофе или о железнодорожном крушении. Ехали себе люди, спали, ели — и вот на тебе…Вечером после первого налета ребята собрались во дворе переживать первую бомбежку.»

«На этот раз бомбы взорвались в Железнодорожном районе города. Расположенный на холме, железнодорожный поселок хорошо виден с тротуаров центральной улицы. Маленькие белые, синие, красные домики по крутым переулкам взбираются к вершине холма, где скально возвышается массив серых многоэтажных домов-новостроек. Это самое высокое место в городе. Сергею, никогда не бывавшему за полотном железной дороги, железнодорожные дома-новостройки с радиоантеннами на крышах казались старинным могучим замком, а иногда медлительным океанским кораблем, неторопливо и осторожно плывущим в редком утреннем тумане. На них хорошо было смотреть, замечтавшись…

Утром под окном Сергеевой квартиры раздался призывный свист.

— Давай скорей! — крикнул Сявон, когда Сергей подошел к окну.

— Сейчас! — ответил Сергей. По Славкиному нетерпению он понял — произошло что-то чрезвычайное.

Сергей выбежал во двор, на ходу разламывая кусок хлеба. Сявон (он был уже умыт, короткий и редковатый чубчик его лежал аккуратно, только что расчесанный специально увлажненной расческой) взял половину, и они побежали за ворота. Теперь выбегать по утрам за ворота было делом не совсем обыкновенным. Ночью город пустел, но не засыпал, ночью он острее чувствовал опасность. По его асфальтовым тротуарам, булыжным мостовым ночью не ездили, не ходили, не гуляли — все эти глаголы мирного времени сохраняли свою силу только днем. С вечера же, после недавно объявленного комендантского часа, по улицам патрулировали милиционеры и солдаты войск НКВД. С вечера в улицы города тишиной вплывала угроза, входила война, и дежурные в десятках дворов, на крышах домов чутко прислушивались к ней. С рассветом война уходила из города, отступала под напором будничной суеты, но улицы, сам асфальт долго хранили память о ночной тишине. И первые шаги, первый топот женских каблуков звучал под окнами немного вопрошающе: «А не рано ли еще? Не слишком ли дерзко, что я уже вышла на улицу?»

Сергей очень остро чувствовал эту бессонную ночную тишину. И сейчас он с особым ощущением прислушивался к тому, как отдавался в уличных подворотнях топот его и Славкиных ног, присматривался к неестественной асфальтовой нетронутости и чистоте, к тому, как медленно и лениво, словно еще не вспугнутый троллейбусами и автобусами, стелется над проезжей частью синеватый туман.

«Они миновали сквер и вышли на центральную улицу. Центральная улица была самой старой и в то же время самой новой улицей города. Несколько сот лет назад она была просто пыльной степной дорогой. Потом здесь, на месте небольшого поселения, по царскому повелению воздвигли крепость — опору против турок и татар, и крошечная часть степного пути стала улицей. Об этом ребятам говорили на уроках истории. Но история — это так давно, что и представить себе не очень-то можно, а вот за последние лет шесть, уже на памяти ребят, с главной улицы убрали трамвайные рельсы, залили ее асфальтом и натянули над ней тонкую сетку троллейбусных проводов, а на месте пустырей или развалин времен гражданской войны разбили скверы, настроили новые дома.

— Наш город, — объявил как-то Гарик Лучин (Гайчи), — расположен на одной параллели с Марселем. И планировался он, как Марсель. Никакой путаницы. Улицы параллельно реке, проспекты — перпендикулярно. Много парков и зелени.

Заявление Гайчи никто не подверг сомнению. Во-первых, это сказал Гайчи — едва ли не самый уважаемый член Двора, а во-вторых, очень понравилась сама идея: наш город — Марсель…

— Смотри! — сказал Сявон Сергею и показал в сторону вокзала, туда, где гордо плыл в утренних низких облаках океанский корабль новостроек Железнодорожного района.

Сергей посмотрел и вдруг понял — корабль не плывет. Он стоит, выбросившись на мель, и кто-то уже разворотил, отрезал ему автогеном носовую часть, словно корабль решили пустить на слом.»

«К железнодорожным новостройкам они пришли усталыми — дома стояли дальше, чем они ожидали. Новостройки оказались четырех- и пятиэтажными зданиями с широкими квадратными окнами, с просторными балконами, почти такими же, как в их доме. Здесь все было как в новых районах города — решительная ясность в архитектуре, много асфальта и зелени, магазины с высоченными витринами, песочницы и фанерные грибки около детского сада. Домов было много, и Сергей с Сявоном не сразу нашли тот, в который попала бомба. На этот дом Сергею было так же страшно и любопытно смотреть, как на покойника. Ужасали податливо и безжизненно свисавшие балки потолочного перекрытия верхнего этажа, безобразно изорванное железо крыши, продавленная, превращенная в кучу известковой и кирпичной трухи тяжелая стена.»

«У моста через реку они долго пробирались между машинами и повозками — красноармейцы в выцветших гимнастерках проверяли документы шоферов и пассажиров грузовиков. Мост был разводной. Несколько раз в день к нему подплывал небольшой буксирный пароход, забрасывал трос на центральную секцию и оттягивал ее к берегу: секции держались на баржах, для устойчивости загруженных камнем. И тогда на берегу скапливались гигантские очереди грузовиков, легковых машин и конных повозок.

— Дадут сюда немцы пару бомб, — сказал Гришка, — винегрет получится.

Они шли по деревянному, прогибающемуся под колесами машин, исщепленному настилу и испытывали смутное беспокойство. Оттого, что широкий и тяжелый мост так тщательно охранялся, он казался неожиданно хрупким и неустойчивым. За мостом, петляя по низкому берегу между домишками на высоких каменных фундаментах — защита от ежегодных паводков, — тянется латаный и перелатаный асфальт узкого шоссе. Сейчас он, наверно, из последних сил держится под колесами и гусеницами по-военному тяжелой и неделикатной техники. Небо над этой техникой безнадежно и откровенно чистое, глубокое, синее. Редкие облака быстро и беспрепятственно проходят его от горизонта к горизонту, и люди, стесненные узкостью дороги, раздраженные тем, что им кажется неразберихой, нерасторопностью, опасливо провожают их глазами.

«К ковшу от шоссе ведет короткая немощеная дорожка. Ковш — большой искусственный залив, зимняя стоянка речных и небольших морских пароходов. Частенько сюда заходит мечта всех городских мальчишек — трехмачтовое парусное учебное судно местной мореходки. В ковше же приткнулась к мели старая, отработавшая на Азовском и Черном морях колымага, что-то вроде самоходной баржи с разваленными непосильным грузом бортами, с навсегда чем-то провонявшими трюмами. На этой колымаге и оборудована база юных военных моряков. На базе и вообще в ковше всегда много мальчишек. Их тянет сюда то, что взрослых отталкивает: стоячая, покрытая зеленью и мазутом вода, обилие старого, ржавого железа, топкое, илистое дно, засосавшее не одну лодку, хранящее не одну тайну, замусоренные, захламленные берега, где можно найти старые якоря, звенья оборванных якорных цепей, части сгнивших лодок и даже сравнительно целые рыбачьи каюки.»

«Отец ушел в армию, но еще несколько дней будто оставался дома. Его вместе с такими же пожилыми, не очень приспособленными к войне дядьками поместили в большом, пустоватом, украшенном колоннами здании Дворца культуры электриков. Сергей каждый день бегал туда — носил отцу в судках обед, который с вечера готовила мать. Часовые беспрепятственно пропускали его и еще десяток таких же пацанов с кастрюльками. Сергей робко говорил часовому: «Здравствуйте», задерживался ровно на секунду, чтобы понять, пропустит или не пропустит, проходил по звонкому мраморному полу вестибюля ко второму, «внутреннему» дежурному, уже веселее здоровался с ним и взбегал по лестнице, на которой недавно снятые ковровые дорожки оставили длинный след «незагара».

На втором этаже дворца, как в театральном фойе, пахло пыльными портьерами, как в спортивном зале — пóтом и, как в столовой, — парующей пищей. Дворец культуры был постоянной казармой — военкомат соорудил здесь что-то вроде пересыльного пункта, где люди ожидали по неделе, а иногда и по две, пока их направляли в боевую часть.»

«Сергей заспешил. Теперь он по-новому услышал торопливые сигналы автомобилей, лязг тележных колес по мостовой, и его тоже охватили настороженность и нетерпение. Он свернул от потока машин и людей в сторону, на боковую улицу. Эта была старая, булыжная улица с многоэтажными акациями, которым давно уже малы оставленные когда-то в тротуарах оконца. И раньше на этой улице было немного прохожих, а теперь ни одного. Улицу словно выключили. И вообще в городе было что-то выключено. В самом воздухе чего-то не хватало, кислорода, что ли? Во всяком случае, дышалось тут напряжённо. Сергей заметил, что он словно не шёл, а перебегал от подворотни к подворотне. Дойдет до одной и прицеливается, где другая, ближайшая… И опять натыкался на ямы. Но даже если не было ям, под ногами хрустела стеклянная крошка. Иногда полквартала Сергей ступал по черно-синим осколкам патефонных пластинок. Как будто после дикого кутежа пластинки швыряли с верхних этажей или как будто здесь по соседству — фабрика звукозаписи, с заднего двора которой сюда вывозят бракованную продукцию. Сергей поднял один черно-синий осколок и догадался — обыкновенное оконное стекло, побывавшее в сильном огне. Иногда Сергею попадались кварталы, почти не затронутые бомбежкой. Но и они были пустынны, и там в воздухе млело напряжение».

«Сергей шел в школу. Он свернул на трамвайную линию. Кое-где над улицей тонкая сеть из трамвайных проводов не была потревожена. Местами она спускалась к мостовой. Удивительно, трамвайный провод всегда казался Сергею тонким, а вот тут, на земле, было видно, что проволока очень толста. Вот и школа. Сергей толкнул калитку и обомлел. Весь двор, вплоть до сараев, которые утром освещаются солнцем, был завален кирпичным мусором и щебнем. Вот куда попадали бомбы, воронок от которых Сергей не видел на проезжих частях улиц! Они попадали в тело города, в его дома! Бомба разрушила школьную лестничную клетку. Каменные входные приступки были скрыты под обломками стены. Но сама лестница — чугунная широкая лестница — осталась цела. Даже перила с набитыми на них деревянными квадратиками сохранились неприкосновенными. Неестественно расширились входы с лестничных площадок в залы, но боковые стены лестничной клетки тоже остались целы. Даже не обвалилась светло-зеленая штукатурка, даже масляный трафарет не попортился».

«Горит Дом Советов, универмаг, музыкальная школа… — начал перечислять Хомик. Он торопился показаться Сергею старожилом в этом разбомбленном городе.

Ему подсказывали:

— Финансово-экономический институт.

— Филармония.

— Театр.

— И театр?!

— Прямое попадание.

Сергей молчал. Он был подавлен.

Самолеты уходили. Зенитки провожали их за город.

Потом зенитки замолкли, и где-то далеко по самолетам ударили из винтовок, зачастили из пулеметов.»

«Город горел. Днем, в минуты затишья, даже в отдаленные, нетронутые кварталы вползали неторопливое потрескивание и шелест — звуки тропически знойного дня, звуки пожара. Освоившись с бомбежкой, уловив ее ритм, мальчишки почти каждый день выходили в город. («Идем на чердак дежурить», — сообщали они поначалу матерям. Потом ограничивались простым: «Ма, я пошел». Родительская власть исчезла.) Они шли стеклянно хрустящими улицами, перегороженными рухнувшими столбами электросети. Иногда столбы, накренясь, повисали на собственных проводах, цеплялись за ветки деревьев — деревья лучше выносили бомбежку. В центре — коридор из горящих зданий. Жилые дома отстаивали сами жильцы, но никто не мешал гореть гигантскому недостроенному Дому Советов, финансово-экономическому институту, кинотеатрам, радиокомитету. Пожар здесь не полыхал, не рвался к небу, — он медленно съедал деревянные перегородки, назойливо дымил, оплавлял стены домов сажистым стеклянным шлаком. Горели и строительные леса недавно заложенного универмага, в котором, писали газеты, должны были работать грузовые лифты, ресторан и маленькое кафе-мороженое.

Люди не мешали пожару, и он не торопился. Если бомбежка заставала ребят на улице, они прятались в баррикады с богатырской кирпичной грудью, которыми были перегорожены почти все улицы. Но они не сидели все время бомбежки, сжавшись в темноте. Они выбегали наружу смотреть, как отрываются от самолетов черные капли бомб. Охотились за еще теплыми осколками зенитных снарядов. Странно, это была игра, обыкновенная мальчишеская игра. И еще, конечно, желание победить страх.»

«Больше всего Сергея сейчас волновало, будут ли в городе уличные бои. Он прицеливался из баррикадных амбразур в перспективы улиц, откуда, прячась за деревьями и прижимаясь к стенам, должны были появиться немцы. Но пока немцев там не было».

«В городе вообще почти не было военных. Военные были за городом, там, где трещала и ломалась пулеметная и винтовочная пальба. И когда однажды перед рассветом главные улицы заполнились густым шорохом человеческих шагов, лязганьем гусениц и сигналами автомобилей, в подвалах домов поняли: настала та самая минута, в которую никто так до конца и не верил… Солдаты отступали двумя потоками — к мосту у ковша и к понтонной переправе, переброшенной саперами у северной окраины города. Солдаты шли угрюмые, пыльные, серые. Усталость делала их мелкорослыми, щупловатыми. С самого утра немецкие самолеты повисли над переправами, и многие наши части по два, а то и по три раза проходили мимо Сергеева дома то в одну, то в другую сторону — от разбитого к еще уцелевшему мосту.»

«Набережная — огромная портовая территория, застроенная складскими зданиями, амбарами, заваленная песочными, гравийными, угольными курганами, перерезанная ведомственными заборами, — и правда стала ловушкой для военной техники. В ее тупиках, поворотах, переездах через железнодорожные рельсы застревали грузовики, водители которых стремились пробраться от одной переправы к другой, не выезжая в город, а прямо по берегу. В одном месте ребята увидали даже брошенный танк.»

«…за одного убитого немца пятьдесят наших расстреливают. На углу Нольной и Котельной нашли убитого немца, так вывели всех из углового дома — и детей, и женщин, и стариков — и прямо на улице постреляли. И кто мимо проходил. Всех до одного! Представляешь: идешь мимо, ничего не знаешь, дома тебя ждут, а тут цап — и пулю в лоб… А наши поднапрут — мы тут под шумок немцам по затылку…»

«Они стояли на площади перед комендатурой. Это была самая большая площадь в городе. До войны здесь всегда проходили первомайские и ноябрьские парады и демонстрации. Театр, облицованный белыми мраморными плитами — с начала войны его закрывала гигантская маскировочная сеть — был изображен на всех фотографиях с видом города. Под Новый год на этой площади выстраивался ряд сказочно разрисованных лотков школьного базара, поднималась огромная, с корабельную мачту, елка.»

**ГЛАВА 4.**

**А.И.Солженицын. Ростовские страницы.**

***Рассказ «Настенька», поэма «Дороженька», роман «В круге первом».***

Многие места Ростова связаны с юностью великого человека и большого писателя — Александра Солженицына. Школа, физфак ростовского университета, единственный из сохранившихся домиков на Халтуринском. Ростов всегда будет считать автора «Архипелага Гулага» и «Красного Колеса» — своим земляком. Существовала даже инициатива присвоить Южному федеральному университету имя Солженицына.

Как известно, Александр Солженицын жил в Ростове-на-Дону с 1929 по 1934 год. В переулке Халтуринский сохранился дом семьи Солженицыных. С инициативой создать музей писателя в этом доме в разное время выступали ростовские предприниматели и деятели культуры, однако до сих пор идея не реализована из-за того, что в особняке расположено муниципальное жилье, и на отселение жильцов необходимы немалые средства.

В 2008 году вышел целый ряд публикаций в СМИ, посвящённых открытию проспекта в Ростове-на-Дону, который собирались назвать именем Солженицына. Вот некоторые из них:

«Мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев подписал постановление о присвоении имени скончавшегося 4 августа этого года Александра Солженицына центральному проспекту строящегося микрорайона Ливенцовский.

После смерти Солженицына вышел указ президента России, в котором рекомендуется присвоить имя писателя одной из улиц Москвы, а также улицам в Кисловодске и Ростове-на-Дону, где прошли его юношеские и студенческие годы. "Проспект Солженицына - это четырехполосная улица, идущая через весь Ливенцовский район. Она разделена газоном, на котором уже высажены цветы и многолетний кустарник, обустроены тротуарные дорожки", - сообщил 6 октября начальник отдела застройки района объединенной дирекции строящихся объектов города Геннадий Верещагин, которого цитирует РИА "Новости"."Северный Кавказ" передает, что в будущем на этом проспекте будут располагаться жилые дома, школы, детские сады и поликлиника.

Ранее сообщалось, что жители Ростова-на-Дону предложили создать музей Александра Солженицына. Великий писатель учился здесь сначала в школе, а затем поступил на математический факультет Ростовского госуниверситета. На здании, где находилась школа, установлена мемориальная доска.

Детские годы Александра Исаевича Солженицына приходятся на трудное предвоенное время. Мать долго не хотела определять мальчика в школу, ждала, что как-нибудь обойдется, устроится. Но не устраивалось: частных пансионов не появлялось, гимназий не открывали. И, когда уже нельзя было больше тянуть, отдала сына сразу во второй класс — и то не с сентября, а со второй четверти. С 9 ноября 1927 года в ростовской школе № 15 началась его школьная пора. И вскоре уже он сам испытал участь гонимого — за то, что продолжал ходить с матерью в последнюю не закрытую ещё городскую церковь, и за то, что носил на шее крестик.

Позже от него настойчиво требовали вступить в пионерскую организацию. В школе ничего не знали о семье Солженицына, но точным классовым чутьём подозревали в однокласснике чуждый элемент, и как-то горластый комсорг лично взялся прорабатывать мальчика. Весной 1931-го Александр всё же был рекрутирован в пионеры. Теперь за ним приглядывали особенно зорко, и двое шпионов из класса выследили-таки новоиспечённого пионера идущим с матерью в церковь — отслужить панихиду по умершей бабушке Евдокии Григорьевне. Было устроено судилище с проработками и оргвыводами, и был случай, когда силой сорвали с пионера крестильный крест...

Вспоминает Н. А. Решетовская: «В детстве он получил в какой-то мере религиозное воспитание. Но школа всё зачеркивала. Я помню, как в третьем классе нас (Решетовская училась в ростовской средней школе № 2. ) попросили поднять руки, у кого были рождественские ёлки, и какой стыд было тянуть руку. Родители просто щадили детей, чтобы они не раздваивались. Школа главенствовала».

Детская набожность и искренняя вера вытеснялись из жизни; их не терпели красная пионерия и звонкая комсомолия. А Саня тоже был создан из вполне человеческого, то есть податливого материала. И вот уже вместе с ребятами он гонял мяч «в ограде закрытой, недоразрушенной церкви Казанской Божьей Матери, на площадке у бокового притвора, ударяя мячом то в решетчатое оконце, то в надгробные камни». Все храмы в четвертьмиллионном городе были закрыты, не осталось ни одного священника, и казалось, что режим ликвидировал не только церкви, но и Бога. Охлаждение и отход от веры были неминуемы — детская привязанность к церкви, так же как слова молитв и имена святых, уходили на дно души, в глубокое сердечное подполье, и жили до поры до времени только там.

…Для обычного человека его детство, школьные годы, первые друзья и недруги, первые впечатления и переживания — это, как правило, территория приватного, область личной жизни. Не то — у человека публичного, известного: именно детство, его тёмные углы и кривые закоулки, навлекают энтузиастов, дознавателей и подглядывателей. Толпами являются очевидцы детских конфузов, свидетели шалостей и хулиганств, мемуаристы «из нашего двора» — так называемые «враги детства».

И почти все школьные годы он считал себя противоположным строю и государству и, учась скрывать свои убеждения, внутренне сопротивлялся советскому воспитанию. Это вынужденная двойственность духовной жизни, мучительно-агрессивное соревнование пионерских лозунгов с семейными драмами составила главную, а не мнимую (из-за шрама, клички или мушкетёрской роли) тайну трудного — «запутанного и двуправдного» — подростка Солженицына.

И была ещё тайна «тупика». Сане было шесть лет, когда они с матерью поселились в дощатом низеньком домике, заняв одну из нескольких каморок с отдельным входом. Был при домике маленький сад с качелями и скамейкой, где мальчик мог играть на воздухе, а хозяин, старик Обрезанов, выпиливал из фанеры фигурки птиц и животных, так что прохожие думали, будто здесь музей. Стоял домик в конце безлюдного тупика, в крутом и грязном каменном провале. Это было первое их с мамой ростовское жилье,

Плитняк потресканный, булыжник, люки стоков:

В дожди и в таянье со всех холмов окружных

Сюда стекались мутные потоки

одна сторона которого была образована огромной стеной. По адресу «Никольский (Халтуринский) переулок, 52» они прожили с 1924-го по 1934-й, из этой самой гнилой и сырой хибары в девять квадратных метров в 1930-м забрали деда.

Каждый день (и много раз на дню) в течение всех этих лет, по дороге в школу и обратно, он шёл либо бежал вдоль глухой стены, мимо длинной вереницы женщин, которые стояли тут часами. И все знали, что это задняя стена двора ОГПУ, и печальные жены заключённых, «под тихий говор, жалобы и плач», обречённо ждали своей очереди с узелками тюремных передач. «Громада кирпича, полнеба застенив, / Мальчишкам тупика загородила свет. / С шести и до пятнадцати в её сырой тени / Я прожил девять детских лет».

С детскими годами связана предыстория рассказа Солженицына, созданного в 90-е годы ХХ века, рассказа **«Настенька».** Литературная троица: Саня, Кирилл и Лидочка Ежерец азартно читали друг другу свои стихи и повести, встречаясь то в школе, то в чудесном двухъярусном городском саду. Летними вечерами на открытой эстраде играл симфонический оркестр, и они ощущали себя причастными к общему счастью — доступным бесплатным концертам. Зимой и в ненастье к услугам друзей была просторная квартира Лиды (чей папа Александр Михайлович Ежерец был большим человеком в медицинском мире Ростова) с балконом на Большую Садовую. Вместе с Лидой они горели неутолимой страстью к литературе, и мечта Кирилла о писательстве была тогда даже жарче и неистовей, чем у Сани.

…В те времена их дружба не была омрачена ни предательством, ни чёрным наговором, ни завистью. Саня дорожил мягкой, нежной, по-девичьи отзывчивой душой Кирилла, жившего с больной матерью и сестрой Ниной в одной комнате. Таисия Захаровна, как родного, любила Кирочку, и, как родного, любила Саню мама Кирилла. Как-то Кирилл устроил в своей маленькой квартирке на Шаумяна спиритический сеанс, объяснив друзьям, что надо непременно открыть форточку, сидеть молча с зажжённым светом и сильно верить в магические показания буквенного круга. «Положили лёгкие пальцы на опрокинутое блюдце, Кока был поначалу наиболее недоверчив, чтобы другие не двинули, — но поведение блюдца превзошло фантазию любого из нас: некоторые вызванные иностранцы не могли справиться с русской азбукой (нам в голову не пришло заготовить и латинскую), иные русские выбирали буквы неграмотно (и потом мы догадывались, что они были в жизни неграмотны), Суворов гонял блюдечко с кавалерийской быстротой, Зиновьев — жалко ползал и оправдывался, “мы были с Лениным друзья”, а кто-то на вопрос, будет ли война, уверенно ответил нам “1940”, а “кто победит?” — и стрелка блюдца три раза подряд уверенно разогналась на “С” и один раз на “Р”: СССР! Но и не удайся эти сеансы, именно с тобою мы никогда не смеялись над мистикой…»

«А когда умерла твоя мама, — вспоминал Солженицын, — то после похорон её на другой день, в твой страшный день, чтоб не быть тебе дома, не быть одному… мы пошли с тобой с утра и до заката в степь, за Темерник… И так мы бродили, бродили без дорог весь полный день, говорили обо всём, вполне слитные душами, и чувствовали усопшую — и право же, ты к вечеру немного поживел, вернулся на землю».

Примечательно, что добрая память детства, дружеская ласковость к Кирочке, Кириллу, Кирилле (так, с женским окончанием, иногда называли Симоняна друзья, но не в насмешку, а с нежностью, из-за его девичьих ужимок), не изменили Солженицыну-мемуаристу даже тогда, когда его достигла предательская «жёлтоклейменная зловонная брошюра» прежнего друга. «Я — прощаю тебя, — писал тогда Солженицын, — жгло тебя многое в неудачной, расстроенной, обречённо-безбрачной жизни».

Кирилл в школьные годы и в самом деле был умнее и развитее многих сверстников, искушённее и в стихах, и в музыке. Именно он был любимцем Анастасии Сергеевны Грюнау, учительницы литературы. Любимая и незабвенная Нанка подростком приехала с родителями в Ростов из Москвы, в 1930-м окончила литфак ростовского пединститута, вела словесность с пятого по седьмой класс, считалась светочем знаний, умела увлечь и ответно вдохновлялась благодарными глазами учеников.

Спустя 60 с лишним лет Солженицын запечатлеет в **«Настеньке»** ту учительницу и её юные мечты — наилучшим образом объяснять детям русскую литературу, как можно больше стихов учить наизусть и читать в классе пьесы по ролям. Расскажет и про мытарства профессии — когда любимых писателей после применения к ним классового подхода нельзя было узнать; когда новая литература рождалась от чехарды политических лозунгов, а её нужно было хвалить; когда учебники, не поспевая за сменой идейных ориентиров и поворотами линий , печатались только на полугодие и мгновенно устаревали. «Прежняя незыблемая цельность русской литературы оказалась будто надтреснутой — после всего, что Настенька за эти годы прочла, узнала, научилась видеть. Уже боязно было ей говорить об авторе, о книге, не дав нигде никакого классового обоснования. Листала Когана и находила, “с какими идеями это произведение кооперируется”».

Ещё в одном произведении Солженицына можно обнаружить донские страницы. Связан этот факт с учёбой в университете. Среди преподавателей ростовского физмата было немало достойных математиков: Вельмин, Богословский, Горячев, Гремяченский, Мокрищев, Черняев. «Саня учился на математика не столько по призванию, сколько потому, что на физмате были исключительно образованные и очень интересные преподаватели», — вспоминал Мазин. А Дмитрий Дмитриевич Мордухай-Болтовской (1876 – 1952), учёный с мировым именем, и вообще считался личностью легендарной: его, почётного члена Сорбонны и Нью-Йоркской Академии наук, лишили званий из-за неправильного происхождения. Сын потомственного дворянина, инженера путей сообщения Д. П. Мордухай-Болтовского получил математическое образование в С.-Петербургском университете, преподавал в Варшаве и в 1906-м защитил диссертацию («О приведении абелевых интегралов к низшим трансцендентным»), став сперва магистром, а затем профессором Варшавского университета. В связи с приближением немцев к Варшаве в начале 1915 года Императорский Варшавский университет в спешном порядке эвакуировался в Москву, а оттуда — в Ростов-на-Дону. Все математики во главе с Мордухай-Болтовским переехали в Ростов, основав крупнейший в стране факультет чистой и прикладной математики. В мае 1928-го в РГУ торжественно отмечали 30-летний юбилей научной и педагогической деятельности учёного.

**«В круге первом»** арестант Нержин вспомнит своего университетского профессора Дмитрия Дмитриевича Горяинова-Шаховского (под этой фамилией был выведен Д. Д. Мордухай-Болтовской). «Маленький старик, уже неопрятный от глубокой старости (в 1936-м Болтовскому исполнилось всего шестьдесят — Л. С .), то перемажет мелом свою чёрную вельветовую куртку, то тряпку от доски положит в карман вместо носового платка. Живой анекдот, собранный из многочисленных “профессорских” анекдотов, душа варшавского университета, переехавшего в девятьсот пятнадцатом в коммерческий Ростов, как на кладбище. Полвека научной работы, поднос поздравительных телеграмм — из Милуоки, Кейптауна, Йокогамы». Этот колоритный персонаж, вернее его прототип, всегдашний гость семейства Федоровских, оставил памятный след и в «Дороженьке»: «К столу хозяйка подводила / Старинного любимца дома, / Механика и астронома, / Горяинова-Шаховского. / Седой полнеющий старик, / Учёный с титлом мирового, / Владелец шапочек и мантий, / Известный автор многих книг, / Не утерял ещё таланта, / Прикрывши грудь волной салфетки, / Следить за вкусами соседки &lt;...&gt;. / И оживлённо средь мужчин / Поговорить о Лиге Наций, / О том, куда идёт страна, / И о записках Шульгина».

Памятны были и знаменитые лекции профессора, от которых в отчаяние приходили даже стенографистки: «По слабости ног усевшись у самой доски, к ней лицом, к аудитории спиной, он правой рукой писал, левой следом стирал — и всё время что-то непрерывно бормотал сам с собой. Понять его идеи во время лекции было совершенно исключено. Но когда Нержину с товарищем удавалось вдвоём, деля работу, записать, а за вечер разобрать — душу осеняло нечто, как мерцание звёздного неба».

Донская земля по праву может называться родиной Солженицына. Именно сюда после возвращения в Россию приехал писатель в 1994 году. А ещё двумя годами ранее в 1992 году сыновья писателя Ермолай и Степан навестили Викторию Константиновну Пурель (в замужестве Красных) в Таганроге, где она много лет жила и учительствовала, возила в ростовскую школу № 15, при которой в начале 1990-х был создан музей Солженицына, своих учеников. Братья преподнесли ей книгу («Бодался телёнок с дубом») с тёплым автографом отца, а потом вместе с внуками хозяйки гуляли по городу. Местные журналисты, взволнованные приездом молодых Солженицыных, решили, что дело тут в чеховских местах Таганрога...

Пребывание Солженицына в Ростове связано с его посещением РГУ. Эта цитата из обращения к студентам РГУ в 1994 году. «Вам предстоит проявить свой характер. И, кроме того, вам, дорогие мои, предстоит проявить общественную активность, ибо судьба России в руках её граждан, зависит от активности её граждан. Только от вашей повседневной активности, от неапатичного ожидания, что-то сверху само спустится, будет зависеть ваша жизнь».

В яблочко. Страну делают люди - а не те, кто сидят наверху. Поэтому то, что мы живем так плохо - это только наша вина. Наша пассивность и безволие, равнодушие и инфальтильность создают нашу жизнь не менее, чем активность - которой пока еще слишком мало. Есть только надежда, что с каждым днем, с каждым повышением цен и с очередным вопиющим случаем беззакония, активных людей будет все больше. Только тогда мы сможем жить лучше.

Он выслушивая на каждой встрече по 15, 20, 30 человек, говорил: «Пока не объеду всю Россию, не стану встречаться ни с кем в столице. Если Москва — сердце России, то провинция, глубинка — её душа». Как же не похожи были эти встречи на модные в годы перестройки поездки «прогрессивных писателей» к простому народу или на «концерты» популярных экономистов в лучших залах столицы…

Только в родном Ростовском университете (20 сентября) Солженицын отступил от принятого правила — и прежде чем дать слово слушателям, выступил с краткой речью. Это происходило в здании, обрубленном бомбой, где до войны был актовый зал несравненной красоты; А. И. проучился здесь пять лет, знал каждую дверь. «Мы жили под страшным, хотя и не всем видимым Колесом, — говорил он студентам, лет на 55 моложе его. — Колесо это, как раз я учился с 36-го по 41-й год, то есть и 37-й, и 38-й год, прошло тогда неумолимо через Ростов. А ещё раньше и хуже того оно прошло в 31-м: на улицах Ростова лежали мёртвые крестьяне. Умершие от голода крестьяне. Кубанский край был весь оцеплен, оцеплена была Украина, со всех сторон. Крестьян не выпускали из своих сёл. Они прорывались в надежде получить кусок хлеба и умирали на улицах города… Через нас катило это невидимое Колесо».

Неукоснительно отказывая мне в чём-либо человеческом, а только змеиное прилепляя»,— так определит Солженицын характер клеветы, опутавшей десятилетия спустя его детство.

А случай тот запомнился писателю отчетливо. Он произошёл 9 сентября 1930 года в классе 5 «а», в самом начале учебного года, когда Кирилл Симонян только-только перевёлся из другой школы, учился в 5 «б» и ничего толком знать не мог. «Со многими мальчишками, вооружённые деревянными мечами, мы захватывающе играли в разбойников по заброшенным подземным складским помещениям, каких немало в ростовских дворах, и среди тех мальчишек действительно был Шурка Каган. И он предлагал: украсть на Дону лодку и бежать в Америку. А 9 сентября он принёс в школу финский нож без футляра — и мы с ним, именно мы вдвоём, стали с этой финкой неосторожно играть, отнимая друг у друга, — и при этом он, не нарочно, уколол меня её остриём в основание пальца (так понимаю, что попал в нерв). Я испытал сильнейшую боль, совсем не известную мне по характеру: вдруг стало звенеть в голове и темнеть в глазах, и мир куда-то отливать (та самая “страшная бледность”, в которой меня уличили). Потом-то я узнал: надо было лечь, голову вниз, но тогда — я побрёл, чтоб умыть лицо холодной водой, — и очнулся, уже лёжа лицом в большой луже крови, не понимая, где я, что случилось. А случилось, то, что я как палка рухнул — и с размаху попал лбом об острое ребро каменного дверного уступа. Разве о парту так расшибёшься? — не только кровь лила, но оказалась вмята навсегда лобовая кость. Перепуганный тот же Каган и другие, не сказавшись учителям, повели меня под руки под кран, обмывать рану сырой водой, потом — за квартал в амбулаторию, и там наложили мне без дезинфекции грубые швы, — а через день началось нагноение, температура выше сорока, и проболел я 40 дней».

И были тому случаю реальные свидетели: ребята, водившие Саню в амбулаторию, врачи, зашивавшие рану, мама, которая потом Саню выхаживала… А ещё через 55 лет, посетив свою школу, А. И. растроганно будет ходить по коридорам, и, как напишет местный журналист, писатель отыщет «даже ту самую дверь, о косяк которой когда-то стукнулся лбом и получил шрам на всю жизнь».

А что же с антисемитским выкриком? Зимой 1932-го, когда Саня учился в 6-м классе, случилась перепалка между русским мальчиком Валькой Никольским и еврейским мальчиком Митькой Штительманом (среди сорока учеников их класса русских и евреев было примерно поровну). «Они и дрались и взаимно ругались, крикнул и тот о “кацапской харе”, а я сидел поодаль, но не выказал осуждения, мол, “говорить каждый имеет право”, — и вот это было признано моим антисемитизмом и разносили меня на собрании, особенно элоквентный такой мальчик, сын видного адвоката, Миша Люксембург (впоследствии большой специалист по французской компартии). А Шурик Каган во всей той следующей истории был совсем ни при чём».

Тот памятный эпизод исключения из пионеров Солженицын опишет в **«Круге первом»** — как мальчишки-одноклассники Адам Ройтман (фамилия вымышленная), Митька Штительман и Мишка Люксембург (фамилии подлинные), изобличали соученика своего Олега Рождественского (фамилия вымышленная) в антисемитизме, в посещении церкви, в чуждом классовом происхождении. «Хотя мальчики были сыновьями юристов, зубных врачей, а то и мелких торговцев, — все себя остервенело-убеждённо считали пролетариями. А этот избегал всяких речей о политике, как-то немо подпевал хоровому “Интернационалу”, явно нехотя вступил в пионеры. Мальчики-энтузиасты давно подозревали в нём контрреволюционера. Следили за ним, ловили. Происхождения доказать не могли. Но однажды Олег попался, сказал: “Каждый человек имеет право говорить всё, что он думает”. “Как — всё? — подскочил к нему Штительман. — Вот Никола меня “жидовской мордой” назвал — так и это тоже можно?”»

Было создано целое дело. Нашлись друзья-доносчики, видевшие, как виновник входил с матерью в церковь и как он приходил в школу с крестиком на шее. «Начались собрания, заседания учкома, группкома, пионерские сборы, линейки — и всюду выступали двенадцатилетние робеспьеры и клеймили перед ученической массой пособника антисемитов и проводника религиозного опиума, который две недели уже не ел от страха, скрывал дома, что исключён из пионеров и скоро будет исключён из школы».

Так сильно зацепила несправедливость шестиклассника Саню, что не мог он забыть ту обиду и тот страх и через 25 лет, когда писал роман, и через 45 лет, когда писал мемуары. Однако благодарно не забыл и то, как Александр Соломонович Бершадский с ним беседовал «и своею властью завуча и своим пониманием пригасил дело, сколько мог».

Вот именно: своим пониманием пригасил, а не раздул. Потому и исключение из пионеров, случившееся на собрании в порядке оргвывода, было недолгим и несерьёзным — летом 1932 года Саня снова был в пионерском лагере в Геленджике, а потом и в 1933-м, и в 1934-м. А при чём же здесь Шурик Каган?

Уже в сентябре 1932-го Саню Солженицына — увы, далеко не образцового пионера! — опять исключали из школы за систематический срыв сдвоенных уроков математики, с которых он (и двое других, Шурка Каган и Мотька Ген) убегал играть в футбол. Провинился Саня и похищением классного журнала, где был записан как нарушитель с десяток раз (и дерзко закинул кондуит за старый шкаф). «Мы с Каганом и Геном, убитые, ничего не говоря дома, дня три приходили под школу сидеть на камешках, пока девчёночья “общественность” не составила петицию, что “класс берёт нас на поруки”, — и Бершадский дал себя уговорить».

Снова помог мудрый завуч-историк Александр Соломонович — помог, а не воспрепятствовал. Так что не было никаких оснований у писателя Солженицына для отвратительной мести своему завучу 35 лет спустя: вслед за Ржезачем легенду о том, что Бершадский ожил на страницах «Архипелага» под паронимической фамилией Бершадер в образе гнусного, развратного мерзавца, принудившего к сожительству русскую красавицу-зэчку, распространял и Л. А. Самутин. Не ревновал пионер Саня Солженицын завуча к молоденькой учительнице химии Наталье Михайловне Корсаевской (у Самутина — Корсаковской), которая стала женой Александра Соломоновича и потом покончила с собой: воспалённая фантазия «разочарованного мемуариста» приписывает мальчишке-пятикласснику поистине демонические страсти. Был завуч Бершадский, умный и благородный человек, с которым Солженицын радостно встретился в Ростове после ссылки, в 1956-м, и был Бершадер — реальный зэк в лагере на Калужской. Не один еврей под фамилией другого, а два, полярно разные, как вообще бывают разными люди одной национальности и схожих фамилий.

И последний миф — о Лицемере. О «духовном шраме» на моральном облике мальчика Солженицына. В обличительной статье-брошюре Кирилла Симоняна «Ремарка» (тоже затеянной АПН, но слепленной уж очень топорно и потому изданной только по-датски), которую цитирует Ржезач, написано: «Это был интриган… Он (Саня. — Л. С.) умел поссорить товарищей по учебе и остаться в стороне, извлекая из спора пользу для себя. Это был Лицемер с большой буквы, очень находчивый. И я им очень восхищался».

Далее. Ребята, увлечённые трилогией Дюма, именуют себя мушкетёрами. «О том, кто кем будет, категоричным тоном объявил Симонян-Страус. “Я буду благородным Атосом, а ты, Морж, — сказал он Солженицыну, — поскольку ты интриган и лицемер, будешь Арамисом. Ну, а ты, Кока, — Портосом”. Об этом мне (Ржезачу. — Л. С.) поведал Николай Виткевич (Кока)».

Если всё было именно так, как поведал Виткевич (в передаче Ржезача), значит, Симонян ещё в школьные годы имел наклонность из-под носа друзей ухватывать для себя куски получше: ведь назначать себя на роль благородного Атоса было бы как раз-таки верхом неблагородства.

Но любопытно заглянуть в воспоминания Решетовской и 1975-го, и 1990 года. Оказывается: «убийственный» мушкетёрский пункт был «не замечен» Ржезачем, ибо мемуаристка неизменно держалась своей версии, то есть того, что слышала своими ушами не только от Сани, но и от неразлучной троицы. «Ребята много рассказывали о своей школе, называли сами себя мушкетёрами. Атосом был Саня, Портосом — Кока, а Кирилл был Арамисом. В их разговорах постоянно фигурировали герои из самых различных произведений, античные боги, исторические личности. Все трое казались мне всезнайками».

Так ктo же из трёх закадычных друзей на самом деле был Арамисом и кем — за хитрость и лицемерие, находчивость и интриганство — восхищался Кирилл Симонян? Получается, что самим собой: медвежья услуга Ржезача своему информатору, а Виткевича — своему другу. Хотя прилеплять плоскую кличку «Лицемер» блестящему и неуловимому Арамису, мушкетёру, мечтавшему стать аббатом, единственному, кому Дюма оставляет жизнь, значит, ничего не понять в «Трёх мушкетёрах», где «один за всех и все за одного», где трое плюс один составляют единое и неделимое целое. Искажение Ржезача, выжавшего из книги Решетовской максимум негатива, но споткнувшегося на «невинных» деталях, вполне бессмысленно. Но всех «разочарованных» (как прежних, так и новых), магнитом тянет к жёлтой сплетне «Солженицын=Арамис=Лицемер»[14].

Только в последнюю очередь обратимся к памяти «заинтересованного» лица, Солженицына. «“Три мушкетёра” — была наша школьная игра, красование. “Мы, как те трое” — и в школе между нами не было разделения на “Атоса—Портоса—Арамиса” (а в университете эта игра уже не продолжалась). Со стороны Кирилла иногда были попытки распределить имена, но тут же встречали смех и весёлое несогласие. Потом, без всякого участия и тем более согласия двоих, Кирилл объявил о существовавшем разделении: он, Кирилл, — Атос, Кока — Портос, Саня — Арамис». И Саня, в ответ на попытку присвоить ему «Арамиса», как-то ответил: «Уж если кто из нас троих Арамис — так это ты». Кирилл не возражал…

И почти все школьные годы он считал себя противоположным строю и государству и, учась скрывать свои убеждения, внутренне сопротивлялся советскому воспитанию. Это вынужденная двойственность духовной жизни, мучительно-агрессивное соревнование пионерских лозунгов с семейными драмами составила главную, а не мнимую (из-за шрама, клички или мушкетёрской роли) тайну трудного — «запутанного и двуправдного» — подростка Солженицына.

И была ещё тайна «тупика». Сане было шесть лет, когда они с матерью поселились в дощатом низеньком домике, заняв одну из нескольких каморок с отдельным входом. Был при домике маленький сад с качелями и скамейкой, где мальчик мог играть на воздухе, а хозяин, старик Обрезанов, выпиливал из фанеры фигурки птиц и животных, так что прохожие думали, будто здесь музей. Стоял домик в конце безлюдного тупика, в крутом и грязном каменном провале. Это было первое их с мамой ростовское жилье («Плитняк потресканный, булыжник, люки стоков: / В дожди и в таянье со всех холмов окружных / Сюда стекались мутные потоки»), одна сторона которого была образована огромной стеной. По адресу «Никольский (Халтуринский) переулок, 52» они прожили с 1924-го по 1934-й, из этой самой гнилой и сырой хибары в девять квадратных метров в 1930-м забрали деда.

Каждый день (и много раз на дню) в течение всех этих лет, по дороге в школу и обратно, он шёл либо бежал вдоль глухой стены, мимо длинной вереницы женщин, которые стояли тут часами. И все знали, что это задняя стена двора ОГПУ, и печальные жены заключённых, «под тихий говор, жалобы и плач», обречённо ждали своей очереди с узелками тюремных передач. «Громада кирпича, полнеба застенив, / Мальчишкам тупика загородила свет. / С шести и до пятнадцати в её сырой тени / Я прожил девять детских лет».

Но не только Никольский переулок — весь Ростов догадывался, что под главной улицей города, красавицей Большой Садовой (в те времена уже переименованной во Фридриха Энгельса), где километровым каре протянулись во всю длину квартала четыре жёлто-коричневых четырёхэтажных корпуса ОГПУ (дом № 33), в бывших складских подвалах старинного торгового центра, таились пыточные застенки местной Лубянки.

Молчаливо и недвижно стояли часовые на входах у дубовых дверей. Пешеходы старались быстрее проскользнуть и мимо них, и мимо обитых чёрной жестью ворот (крепкие мужчины бдительно следили, чтобы никто не топтался поблизости), и мимо окон, которых по фасадам было не менее полутораста, всегда закрытых и мёртвых, — никто и никогда не приближался к ним изнутри. Но весь город немым шепотом передавал слух об ужасном случае, взорвавшем бесстрастность фасадов и неподвижность окон.

«Лишь раз, когда толпа привычная текла,

Одно из верхних брызнуло со звоном,

И головой вперёд, сквозь этот звон стекла

Безвестный человек швырнул себя с разгону.

С лицом, кровавым от удара,

Ныряя в смерть дугой отлогой,

Он промелькнул над тротуаром

И размозжился о дорогу.

Автобус завизжал, давя на тормоза.

Уставились толпы застылые глаза!

Толпу молчащую — локтями парни в кэпи,

Останки увернули, унесли бегом,

Брандспойтом дворник смыл пятно крови нелепой

И след засыпал беленьким песком».

Пройдёт всего лет десять, никак не больше, и бывший житель сырого ростовского тупика арестант Солженицын, оказавшись изнутри еще более мрачного здания, испытает этот жестокий соблазн, самоубийственную манию окна. Но это будет не ростовская, а уже московская тюрьма, та самая Лубянка, в тайны которой он легкомысленно мечтал проникнуть в детстве: «Играло солнце в тающих морозных узорах просторного окна, через которое меня иногда очень подмывало выпрыгнуть, — чтоб хоть смертью своей сверкнуть по Москве, размозжиться с пятого этажа о мостовую, как в моём детстве мой неизвестный предшественник выпрыгнул в Ростове-на-Дону».

Поистине всё в родном городе — главные улицы и гнилые тупики, подземные склады и зелёные бульвары, парадные фасады и глухие стены, закрытые окна и безымянные самоубийцы — было нашпиговано тайнами. И едва ли не каждый житель опасался, что «скелет в шкафу» рано или поздно вывалится с грохотом и скрежетом, только тронь дверцу. У каждого были своё подполье, своя особая территория риска, своя зона опасности, которые цепко держали человека на игле страха и зависимости. Со своей страшной, убийственной тайной жил и самый близкий тогда друг Кирилл Симонян. Его отец, богатый купец, спасаясь от ГПУ, вынужден был оставить семью и пешком перейти персидскую границу. Жена, сын и дочь, стиснув зубы, всю жизнь скрывали, что Симонян-старший жив и находится в Иране. Разумеется, они не писали ему и от него не получали писем, не поддерживали никаких отношений.

«В то враждебное время я жил в Ростове-на-Дону как на чужбине», — напишет Солженицын лет сорок спустя, и это станет поучительной поправкой к понятию «патриотизм»: и в том смысле, что «время — тоже родина», и в отношении к родине «малой» и к упоминанию родины «большой». Ведь слово «Россия» (как и слово «офицер»), употреблённое без ругательных эпитетов «старая», «царская», «проклятая», вплоть до Великой Отечественной войны считалось махровой контрреволюцией. «До 1934 сам термин “патриот” считался в России преступным. Всё русское постоянно подвергалось презрению в выступлениях, в прессе. Эта официальная ненависть к России кажется и теперь чем-то невероятным. Однако она существовала. Поворот произошел в 1934, неожиданно, по тактическим соображениям» («Архипелаг ГУЛАГ»).

«Сколько я знал и помнил, самое страшное — это соцпроисхождение. Десять и пятнадцать лет советской власти его одного было достаточно для уничтожения любого человека и целых масс. (И по сегодня из ленинских и других томов не изъяты прямые распоряжения подобного рода). И этого троим из нас надо было бояться более всего: мне из-за моего богатого деда, тебе (Симоняну. — Л. С.) — из-за богатого отца (да ещё живого и за границей, а ну, как это звучало тогда?), Наташе (Решетовской. — Л. С.) — из-за отца, казачьего офицера, ушедшего с белыми». В секретных досье 1970-х это обстоятельство тоже было взято на заметку. «Жена Солженицына — Решетовская Наталья Алексеевна, 1919 года рождения, уроженка гор. Новочеркасска, русская, беспартийная, с которой он зарегистрировал брак в 1940 году... В анкетах она указывает, что её отец Решетовский Алексей Николаевич, 1988 года рождения, до революции занимался литературной деятельностью, умер в 1919 году. Её мать — Решетовская Мария Константиновна, 1890 года рождения, по профессии учительница. По оперативным данным, отец Решетовской — казачий сотник из Новочеркасска, погиб во время гражданской войны при обстоятельствах, которые Решетовские скрывают». Оперативный источник — не кто иной, как Ржезач, написавший, что отец Решетовской был казачьим есаулом. «Мама говорила, — возмущалась лжецом Ржезачем Решетовская, — что отец мой был всего лишь прапорщиком. Но отец-есаул — это уже почти криминал».

Детство и юность проходили под знаком опасности, что рано или поздно власть нападёт именно на этот след. Но, оглядываясь назад, Солженицын признaется, что прожил двадцатые и тридцатые годы в духе, присущем всей телячьей молодёжи его времени, — конечно, скромной и целомудренной («без вина, без девушек сухая юность наша»), сосредоточенной на велосипедных походах, шахматных страстях, футболе, танцах, художественной самодеятельности, выпускных и вступительных экзаменах. При всём своём остром внимании к политическим процессам эпохи, при интуитивном ощущении барабанной трескучей лжи, он сокрушался позднее, что не смог сопоставить сталинские процессы с универсальной политической тенденцией. «Я детство провёл в очередях — за хлебом, за молоком, за крупой (мяса мы тогда не ведали), но я не мог связать, что отсутствие хлеба значит разорение деревни и почему оно. Ведь для нас была другая формула: “временные трудности”. В нашем большом городе каждую ночь сажали, сажали, сажали, — но ночью я не ходил по улицам. А днём семьи арестованных не вывешивали чёрных флагов, и сокурсники мои ничего не говорили об уведённых отцах».

В глубоком подполье находилась вся страна, и подпольщиком — вольно или невольно, — становился каждый её гражданин. Проблема заключалась только в том, когда именно, в каком провальном мгновении жизни человеку выпадет это осознать, через какую непредвиденную щель бытия он ощутит на лице ледяное дыхание изнаночного незримого мира, которому не было названия на человеческом языке.

«Изредка нам проступали зримо / Знаменья страхов потусторонних, — / Мы проходили вчуже, мимо, / Скрывши лицо в ладонях. / Слабым, хотелось нам просто / Забыть их, / Лад своей жизни оберегая, / Дом свой, уют свой, вещи — / Поступь / Событий / Зловещих / Минула, не задевая...»

***Поэма «Дороженька»***

В поэме **«Дороженька»,** сочинённой в неволе, будет задан роковой, но риторический вопрос: «Не слышать, имея уши, / Не видеть, глаза имея, — / Коровьего равнодушья / Что в тебе, Русь, страшнее?»

«Мальчиками с луны» назовёт он своих сверстников и, конечно, себя — за неспособность увидеть мир в его истинном свете, за самовлюблённость и самодовольное «мы нам нравимся». В начале войны молодого учителя Солженицына спросит сосед, старый инженер, уже испытавший железную хватку ГПУ — чем ему запомнился 1937 год? Ответ выглядел жалко: да, кого-то, кажется, посадили — двух-трёх профессоров, их заменили доценты, потом нескольких старшекурсников, но нас, наших близких — не тронули... Потом ведь чёрные воронки ходили ночью, а они, ровесники Октября, были активистами дневного времени и упругим маршем шагали со знамёнами по праздничным улицам и площадям.

Вспоминая годы «бесчувственной» молодости, Солженицын не раз поразится всеобщей — и своей, своей! — слепоте. Ведь уже так много было пережито, уже так близко касался его самого обжигающий лёд скрытного мира. Была глубокая обида разорённого, уничтоженного деда. Было бессилие раскулаченного дяди Романа, скитальца, тщетно мечтавшего об эмиграции. Были школьные страхи и терзания, когда Саня лет с девяти каждый день ожидал травли и притеснений. И ещё мальчишкой он запомнил пешие этапы заключённых — по улицам Ростова-на-Дону их гнали без стеснения, и знаменитая впоследствии команда-угроза конвоя «открыть огонь без предупреждения» в то колюще-режущее время звучала так: «Шаг в сторону — конвой стреляй, руби!»

Прозрение могло наступить ещё очень не скоро. Но уже были лодочные походы, незапланированные впечатления, крамольные мысли…

Ростову посвящены главы поэмы "Дороженька".

Ростов забился, заблистал, едва лишь венул НЭП, —

Той прежней южной ярмаркой купецкой

На шерсть, на скот, на рыбу и на хлеб.

Фасады прежние и прежние жилеты

Зонты, панамы, тросточки — и мнилось,

Что только Думы вывеску сменили на Советы,

А больше ничего не изменилось;

Что вновь простор для воли и для денег;

В порту то греческий, то итальянский флаг, —

Порт ликовал, как в полдень муравейник,

Плескались волны в Греки из Варяг.

Тогда ещё церквей не раздробляли в щебень,

И новый Герострат не строил театр-трактор,

И к пятерым проспектам, пересекшим гребень,

Названья новые не притирались как-то.

Дышали солнцем в парках кружева акаций,

Кусты сирени в скверах — свежестью дождей,

И всё никак не шло тем паркам называться

В честь краевых и окружных вождей.

Внизу покинув громыхающий вокзал,

Садовая к Почтовому вздымалась круто.

Ещё не став

«Индустриальных педагогов институтом»,

Уже не «Императорский», Универс’тет стоял.

Впримык к его последнему ребрёному столбу,

В коричневатой охре, на длину квартала,

В четыре этажа четыре зданья занимало

ПП ОГПУ.

Недвижный часовой. Из дуба двери входов.

Листами жести чёрной ворота обиты.

И если замедлялись на асфальте пешеходы,

То некто в кэпи их протрагивал: «Пройдите!»

А со времён торговли той бывалой

Складские шли под улицей подвалы.

Их окна-потолки вросли в асфальта ленту —

Толщь омутнённого стекла — и, попирая толщу ту,

Жил город странной, страшною легендой,

Что там, под улицей, — застенки ГПУ.

И по фасадам окна, добрых полтораста.

Никто к ним изнутри не приближался никогда,

Никто не открывал их. Матово бесстрастны,

Светились окна тускло, как слюда.

Лишь раз, когда толпа привычная текла, —

Одно из верхних брызнуло со звоном, —

И головой вперёд, сквозь этот звон стекла

Беззвестный человек швырнул себя с разгону.

С лицом, кровавым от удара,

Ныряя в смерть дугой отлогой,

Он промелькнул над тротуаром

И размозжился о дорогу.

Автобус завизжал, давя на тормоза.

Уставились толпы застылые глаза!

Толпу молчащую — локтями парни в кэпи,

Останки увернули, унесли бегом, —

Брандспойтом дворник смыл пятно крови нелепой

И след засыпал беленьким песком.

Я на день сколько раз мальчишкой юлким,

На этажи косясь, там мимо пробегал

И поворачивал Никольским переулком

В крутой и грязный каменный провал.

Промежду стен, домов, облупленных снаружи, —

Плитняк потресканный, булыжник, люки стоков:

*Из главы 25*

В дожди и в таянье со всех холмов окружных

Сюда стекались мутные потоки.

Из глубины огромного квартала

Сюда, на дно, где люков чёрная дыра,

ОГПУ опять домами выступало

И воротами заднего двора.

Что день, под тихий говор, жалобы и плач,

За часом час, кто в шляпках, кто в платках,

Здесь ждали женщины с узлами передач,

И с робким узелком и с сыном на руках.

Я на день сколько раз притихшим мальчуганом

Их обходил, идя к себе в тупик,

Где в кучах мусора шёл ярый бой в айданы,

Где «красных дьяволят» носился резвый крик.

Громада кирпича, полнеба застенив,

Мальчишкам тупика загородила свет.

С шести и до пятнадцати в её сырой тени

Я прожил девять детских лет.

Чего ж ещё хочу? Какое мне начало?

Каких ещё корней ищу в моей судьбе?

Я мальчик был — ЧК мне небо заслоняла,

В солдата вырос я, — она — в НКГБ.

Мы жили с мамой в тупике,

В дощатом низеньком домке,

Где зимний ветер свиристел в утычках щельных.

Мечась, ища — чего, не зная сам,

Приехал дед однажды к нам

В рождественский сочельник.

Попил колодезной воды

И пропостился до звезды.

Мы в шумный дом в тот вечер собирались,

Где в тридцать человек встречали Рождество,

Но для него

Втроём остались,

Размётанной семьи

Осколком.

Со взваром чаша. Блюдечки кутьи.

В серебряных орехах крохотная ёлка.

Дрожало несколько свечей в её ветвях.

Лампада кроткая светилась пред иконой.

В малютке-комнатке, неровно освещённой,

Огромный дед сидел — в поддёвке, в сапогах,

С багрово-сизым носом, бритый наголо,

Меж нашей мелкой мебелью затиснут.

Ему под семьдесят в ту пору подошло,

Но он смотрел сурово и светло

Из-под бровей навислых.

Дед начал жизнь с чебанскою герлыгой

В Тавриде выжженной, средь тысячных отар,

В степи учился сам, детей не вадил к книгам,

Лишь дочь послал одну — лоск перенять у бар.

Она взросла неприобретливого склада,

И мне отца нашла не деньгами богата —

Был Чехов им дороже Цареграда,

Внушительней Империи — премьера МХАТа.

*Из главы 30*

Теперь уж кажется преданьем

Такой приветный щедрый дом —

Нароспашь, искренно, ребром —

Где рады близким, рады дальним,

Где остро спорят вкруг стола,

Где пьют-едят довесела,

Где заливаются девчонки,

Где за минуту комнатёнку

То в зал расчистят танцевальный,

То разделят на десять спален,

Старинный ветхий шкаф зеркальный

Перенесут и повернут,

Где книг расходных не ведут,

И не считают ртов утайкой,

Где дышит доброю хозяйкой

Ненарушаемый уют.

Всё было просто. Все — просты.

При всём своём остром внимании к политическим процессам эпохи, при интуитивном ощущении барабанной трескучей лжи, он сокрушался позднее, что не смог сопоставить сталинские процессы с универсальной политической тенденцией. «Я детство провёл в очередях — за хлебом, за молоком, за крупой (мяса мы тогда не ведали), но я не мог связать, что отсутствие хлеба значит разорение деревни и почему оно. Ведь для нас была другая формула: “временные трудности”. В нашем большом городе каждую ночь сажали, сажали, сажали, — но ночью я не ходил по улицам. А днём семьи арестованных не вывешивали чёрных флагов, и сокурсники мои ничего не говорили об уведённых отцах». На страницах произведений Солженицына мы чувствуем эпоху и, читая ростовские страницы, понимаем сопричастность моих земляков ко всему, чем жила эта эпоха.

**Заключение.**

Исследования творчества писателей, чьими именами названы улицы, переулки и проспекты моего города, дают возможность создать художественный образ города и Донского края.

По результатам проделанной мною работы можно сделать заключение, что знания произведений русских писателей помогают сохранить историю моего города и края, образы моих соотечественников, создававших эту историю. В них нашли свое отражение опыт, сознание и нравственные идеалы нашего народа, особенности национального характера.

Это выразилось не только в оригинальности традиционных сюжетов, но прежде всего в том языке, которым написаны басни. В языке крыловских басен

Современным школьникам очень важно изучать жизнь своего народа.

**ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.**

1. Ланин Б. А. Проза русской эмиграции (третья волна): Пособие для преподавателей литературы. – М.: Новая школа, 1997.

2. Русская литература ХХ века.: Справ. материалы: Кн. для учащихся ст. классов / Л. А. Смирнова, А. А. Кунарев, Н. Н. Иванов и др..: Сост. Л. А. Смирнова. – М.: Просвещение: АО «Учеб. лит.», 1995.

3. Сараскина Л. Александр Солженицын. Жизнь замечательных людей: биография продолжается. – М.: Издательский дом «Молодая гвардия», 2008.

4. Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. Том 3. П - Я. с.280-281.

10.ttp://www.snpg.ru/muzeum3.html

11.http://www.solzhenicyn.ru/modules/myarticles/article\_storyid\_493.html